

1897, май

О. С.

Грозный

ср 86

259
232

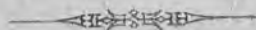
М. О. Меньшиковъ.

КРИТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ.

Томъ II.

1897, май.

Красивый цинизмъ. — Вожди народные. — Слово о мужикахъ. — Три стиха. — Клевета обожанія. — Прикрытый грѣхъ. — Прогрессъ и преданія. — Критическое декадентство. — Перевалъ. — Нашествіе фикарей. — Записки о языкѣ. — Тринадцатый томъ. — Покровительство музамъ. — Кончина вѣка. — Роль читателя. — Литературныя характеристики.



С. Ковалевъ
С. П. В.
Июня 1897
XVII, 99-100

Изданіе Спб. Т-ва Печатн. и Издат. дѣла „ТРУДЪ“.
С.-Петербургъ. Фонтанна, 86.
1902.

Маск 1028₁₀

Слово о мужикахъ.

I.

Среди уличнаго гама раздастся строгій реквиѣмъ—таково впечатлѣніе отъ новаго разсказа А. П. Чехова («Мужики», 1897 г.). Текущая литература наша полна нестройнаго шума, рѣжущаго слухъ: взадъ и впередъ тащутся безчисленныя журнальныя клячи, скачутъ въ фельетонахъ, обдавая грязью другъ друга, бойкіе публицисты, неутомимые беллетристы везутъ безъ усталы огромныя романы, похожіе на трамваи, переполненные случайной публикой; громяхаютъ въ своихъ трактатахъ ломовые, тяжелоѣсные экономисты, кричатъ мелкіе литературные разношники, татары, торгующіе печатнымъ старьемъ и пр. Въ этомъ хаосѣ звуковъ услышать гармоническій мотивъ, хотя-бы печальный, большая отрада. Для меня, и вѣроятно, для большинства читателей, каждый разсказъ г. Чехова составляетъ литературное событіе, и почти всегда радостное: такъ онъ пишетъ рѣдко и такъ хорошо. Это одинъ изъ тѣхъ исключительныхъ авторовъ, которые заставляютъ читать ихъ даже литературныхъ своихъ враговъ; послѣдніе не имѣютъ относительно нихъ утѣшенія отдѣлываться обычной фразой: «Вы говорите о NN? — Я его не читаю». Не читать Чехова—не игнорированье, а *иноранція*, невѣжество непростительное для образованнаго человѣка. Можно не читать второстепенныхъ беллетристовъ, но не слѣдить внимательно за

Впервые: Кн. негали, 1897, май, с. 194-202

Чех. Кн. негали

дѣятельностью самыхъ одаренныхъ своихъ современниковъ равносильно отказу отъ лучшихъ даровъ, какіе посылаетъ вамъ природа. Входить въ общеніе съ работою замѣчательныхъ людей не значить-ли вплетать въ блѣдное свое существованіе самые яркіе цвѣты, какіе есть подъ солнцемъ, цвѣты глубокой мысли, сердечнаго вдохновенія? Для меня рассказы Чехова (и еще двухъ-трехъ молодыхъ талантовъ) всегда событіе, даже когда они неудачны. Въ послѣднемъ случаѣ мнѣ бываетъ досадно, но я не позволю себѣ, по примѣру журнальной критики, тотчасъ набрасываться на художника, злорадно совать ему въ лицо случайный промахъ и кричать, что онъ исписался. Какая грубая неблагодарность! Еще вчера художникъ восхищалъ васъ и давалъ счастье, а сегодня вы его уже развѣнчиваете. Какая поспѣшность въ измѣнѣ и какое легкомысліе!

Въ послѣдніе два-три года русская критика была крайне немилостива къ г. Чехову. Несмотря на то, что кромѣ двухъ-трехъ слабыхъ (для него) вещей онъ далъ рядъ превосходныхъ (напр., «Бабье царство», «Убійство», «Супруга», «Домъ съ мезониномъ»), рецензенты взапуски пророчествовали о паденіи таланта Чехова, о безнадёжности всякихъ ожиданій отъ него. Рецензенты никакъ не могли простить г. Чехову того, что онъ не даётъ, какъ они предписывали ему, «большого» романа. Два-три, много пять листовъ—вотъ размѣръ самыхъ объемистыхъ чеховскихъ вещей; тогда-какъ «настоящими беллетристами» принято считать тѣхъ, кто пишетъ по тридцати или сорока листовъ безъ передышки. Пусть небольшіе рассказы Чехова полны отмѣннаго изящества и серьезной мысли, пусть они вполне законченныя вещи,—но ихъ третируютъ какъ мелочь, какъ размѣнную монету. Но вѣдь эта «мелкая» монета изъ чистаго золота, господа! Это червонцы, въ сравненіи съ «болѣе крупными» мѣдными пятаками! Читая точно кованые изъ дорогого металла рассказы Чехова, ощущаешь огром-

ный *удаленный* въсь потраченного матеріала ни одной лишней буквой. Мысль сжата у него до ея сущности и обладает упругостью заведенной пружины: попадая въ мозгъ читателя, она разплетается тамъ и продолжаетъ свое движеніе, свою внутреннюю жизнь. Бездарный беллетристъ всѣ эти пружины развернулъ-бы самъ, размоталъ-бы ихъ на безчисленныхъ страницахъ и такъ, развернутыми, слабыми и двинулъ-бы ихъ въ голову читателя, не произведя въ ней никакого процесса. Читать такой безконечный романъ — наказаніе, я думаю, слишкомъ жестокое для нашего гуманнаго времени. Если тысячи провинціальныхъ читателей покорно несутъ эту казнь за свое безвкусіе, то только потому, что и вина этого безкусія ужъ слишкомъ тяжела.

Я какъ-то уже говорилъ мое мнѣніе, что «большой» романъ, отживаетъ свой вѣкъ. Недаромъ самые талантливые художники слова въ разныхъ странахъ — Мопассанъ, Киплингъ, Чеховъ, Сенкевичъ предпочитаютъ маленькіе рассказы. Большой романъ, я думаю, несовсѣмъ естественная форма для художественной вещи. Онъ не вмѣщается въ мозгъ читателя, вываливается изъ него. Уже въ срединѣ большого романа я начинаю забывать начало, а конецъ дочитываю всегда утомленный впечатлѣніями, невнимательный къ нимъ. Большинство читателей, впрочемъ, говорятъ, что они пожираютъ большіе романы съ неостывающимъ интересомъ, читаютъ безъ усталости, по книгѣ въ день. Но, я думаю, что это ужъ слишкомъ «благосклонные», безпечные читатели. Они скользятъ по роману, нимало не придираясь къ его сути, слѣдятъ лишь за фабулой, стараясь вычитать изъ романа сказку. Самое драгоценное, тонкое, внутреннее, что скрыто въ отгѣнкахъ мысли, — то, что нужно *чувствовать*, а не читать, все это для такихъ безпечныхъ читателей не существуетъ: они пропускаютъ все это какъ простыя пятна типографской краски. Такъ читать не трудно, но едва-ли составляетъ

благородный поступокъ: это все равно, что оглядѣть Кельнскій соборъ съ пролетки своего извозчика, какъ дѣлаютъ большинство туристовъ. Читатель серьезный, сколько-нибудь уважающій и себя, и писателя, желающій взять все, что тотъ даетъ, читаетъ хорошій романъ съ большими напряженіемъ вниманія, и чѣмъ онъ добросовѣстнѣе, тѣмъ тяжелѣе его работа, и эта трудность портитъ художественное впечатлѣніе. Хорошій большой романъ—дѣло душевной жизни нѣсколькихъ лѣтъ автора, да еще какой сосредоточенной, могучей жизни. Въ такой романъ вливается столько мысли, столько страсти, что пережить ихъ и перечувствовать — для этого читателю нужно, кромѣ пристальнаго вниманія, еще очень много времени, а суть художественнаго впечатлѣнія требуетъ, чтобы всѣ части произведенія по возможности воспринимались сразу или въ ближайшей послѣдовательности. Нетолько гармонія, но и мелодія исчезаетъ, если ея элементы раздѣлены слишкомъ большими промежутками. Поэтому большіе романы, какъ вагнеровскія оперы, и не представляютъ, строго говоря, художественныхъ произведеній. Величина ихъ превосходитъ психическіе предѣлы, при которыхъ ощутимо изящество. Если-бы Венеру Милосскую увеличить въ тысячу разъ, она уже не была-бы для обыкновенныхъ зрителей художественной вещью. Чтобы уловить красоту ея, пришлось-бы отойти за нѣсколько верстъ. На этомъ основаніи огромные соборы, горы, лѣса, силуэты городовъ вблизи кажутся некрасивыми: они становятся прекрасными изда-лека, когда принимаютъ вслѣдствіе разстоянія тотъ угловой размѣръ, который соответствуетъ художественной полнотѣ впечатлѣнія. Но отъ большого романа, какъ и отъ длинной симфоніи, большой картины или слишкомъ крупнаго стихотворенія, нельзя отойти далеко: ихъ приходится переживать во всѣхъ деталяхъ, и это нарушаетъ художественную полноту. Части большого романа заслоняютъ другъ друга, какъ выступы собора, когда вы смо-

трите на него вблизи: вмѣсто художественнаго цѣлаго получается музей художественныхъ подробностей, утомляющихъ какъ всѣ музеи. Лучшие беллетристики нашего времени чутьемъ поняли психическую мѣру художественной вещи—небольшую, въ два-три листа, которые безъ утомленія можно прочесть *въ одинъ присестъ*. У всѣхъ у нихъ большіе романы значительно уступаютъ маленькимъ ихъ рассказамъ, у Мопассана и Сенкевича—одинаково. Тургеневъ—величайшій мастеръ слова—писалъ небольшіе романы. Даже огромные таланты Гончарова, Достоевскаго, Толстого не въ состояніи были справиться съ большими масштабами ихъ работъ; ихъ романы превращались въ хроники, въ художественныя лѣтописи безъ строгой связи и законченной полноты, безъ драматическаго центра. Какъ въ храмѣ св. Марка въ Венеціи, который строился изъ разрозненныхъ частей древнихъ художественныхъ зданій, всѣ отдѣльныя части такого романа превосходны, но весь онъ не имѣетъ опредѣленнаго стиля, именно той гармоніи *цѣлаго*, которая составляетъ высшую красоту. Объемистые романы имѣютъ большую цѣну, какъ художественныя хроники, какъ лучше курсы для изученія жизни; съ этой точки зрѣнія полезны даже многотомныя серіи романовъ, связанныхъ одною фабулой, вродѣ «*Comédie Humaine*» Бальзака или исторіи Ругонъ Зола. Но я думаю, что тутъ *искусство* слова входитъ уже въ область *науки*, поэзія—въ исторію. Искусство чистое становится прикладнымъ.

III.

«Мелкіе рассказы» Чехова, Короленки, Мопассана и др. представляютъ перлы современной поэзіи. Если алмазы, цвѣты и звѣзды миниатюрны, это не мѣшаетъ имъ быть лучшимъ украшеніемъ природы. Все живое, органическое отличается почти ничтожными размѣрами въ сравненіи съ мертвымъ; что такое китъ и слонъ въ сравненіи съ

океанами и горными хребтами? А искусство есть явление живое, органическое. И для меня, по крайней мѣрѣ, полны безконечной жизни эти маленькіе рассказы, вылившіеся изъ сердца великаго автора въ минуты художественнаго оргазма (Чехова я причисляю къ великимъ авторамъ—чтобы тамъ ни говорили въ литературныхъ канцеляріяхъ о невнѣстѣ лѣтъ, о молодости автора для производства въ генеральскій чинъ). Небольшой послѣдній рассказъ («Мужики») — всего въ полтора печатныхъ листа — даетъ поразительный примѣръ того, до какой степени мало нуждается искусство въ матеріальномъ объемѣ, какъ на крошечномъ пространствѣ талантъ сосредоточиваетъ огромное содержаніе. Въ «Мужикахъ» г. Чеховъ на 26 страничкахъ крупной печати какимъ-то волшебствомъ выводитъ чуть-ли не всю стомилионную массу «мужиковъ», жизнь цѣлаго океана земли русской въ подводныхъ глубинахъ его. Какъ на хорошихъ картинахъ, гдѣ изображается толпа, — стоящіе на переднемъ планѣ рассказа десятка полтора лицъ дотого жизненны, характерны, что ихъ достаточно для иллюзии массы; за ними чувствуешь безчисленныя повторенія, всю толпу народную. Трудно подыскать въ нашей художественной литературѣ другой примѣръ болѣе плотной, сжатой работы съ такою внутреннею энергіей.

Мнѣ не хочется передавать содержаніе рассказа г. Чехова: художественныя созданія непередаваемы, и досадно бываетъ ихъ портить въ пересказѣ. Притомъ, было-бы невѣжливостью предположить, что читатель не знаетъ этой превосходной вещи или не поспѣшитъ узнать ее. Я позволю себѣ лишь припомнить вслухъ нѣкоторыя мои впечатлѣнія, вынесенныя изъ рассказа. Вотъ вещь, которую давно надо было написать, и поразительно, что никто до сихъ поръ этого не догадался сдѣлать. Правда, то-же самое думаешь, читая каждую талантливую вещь. Посмотрите, какой это простой и вмѣстѣ страшно интересный сюжетъ.

Лакей московской гостиницы «Славянской Базаръ» Николай Чикильдѣевъ заболѣлъ. Рассказывается, какъ, пролечивъ всѣ сбереженія, лакей съ семьей отправился въ родную деревню Жуково, откуда былъ ваятъ еще мальчикомъ, какая ихъ встрѣтила бѣдность и темнота; какъ лакей умираетъ отъ деревенскаго лѣченія, а жена его съ дѣвочкой снова идутъ въ городъ, питаются Христовымъ именемъ. Развѣ не любопытна такая тема? Многіе-ли у насъ останавливаются на судьбѣ своего лакея, кухарки, горничной, многіе-ли задаютъ себѣ вопросъ, откуда явился этотъ Николай во фракѣ, подающій вѣтчину съ горошкомъ? Что онъ думаетъ, о чемъ мечтаетъ, есть-ли у него свое личное счастье, свое гнѣздо? И что съ нимъ будетъ, если онъ вдругъ заболѣетъ и у него отымутся ноги отъ безконечнаго шмыганья по гостиничнымъ корридорамъ? Мы отовсюду окружены этимъ загадочнымъ многомилліоннымъ классомъ «людей», безъ которыхъ одного часу не можемъ обойтись ни у себя дома, ни въ гостиницѣ, ни въ клубѣ, ни на службѣ, ни въ дорогѣ. Оторванные какимъ-то вихремъ вѣтки великаго древа народнаго, всѣ эти безчисленные Николай и Марьи, будучи разнесены въ города, по лакейскимъ, кухнямъ, дворничьимъ, прачешнымъ, переживаютъ тяжелую исторію увяданія, и рѣшительно необходимо, чтобы въ ихъ горькую долю заглядываль-бы хоть изрѣдка сочувствующій глазъ художника...

«Всѣхъ жуковскихъ ребятъ, которые знали грамотѣ, отвозили въ Москву и отдавали тамъ только въ официанты и корридорные (какъ изъ села, что по ту сторону, отдавали только въ булочники), и такъ повелось давно, еще въ крѣпостное право... Николая отвезли въ Москву, когда ему было одиннадцать лѣтъ, и опредѣлили его на мѣсто Иванъ Макарычъ... Николай (вернувшись въ деревню умирать) говорилъ наставительно:—Иванъ Макарычъ мой благодѣтель, и я обязанъ за него Бога молить денно и нощно, такъ-какъ я черезъ него сталъ хорошимъ человекомъ.—Батюшка ты мой,—проговорила слезливо высокая старуха, сестра Ивана Макарыча:—И ничего про нихъ, голубчика, не слышать?—Зимой (говоритъ Николай) служилъ онъ у Омона, а въ нынѣшній сезонъ, былъ слухъ, гдѣ-то за городомъ, въ садахъ... Постарѣлъ! Прежде, случалось, лѣтнимъ

дѣломъ, приносилъ домой рублей по десять въ день, а теперь повсемѣстно дѣла стали тихія, мается старичокъ...»

И Николай маялся-бы до конца дней, но изменило здоровье, ноги отказались служить, и онъ рѣшилъ ѣхать въ деревню. Изъ городовъ взамѣнъ тысячей мальчишекъ и дѣвченочъ, опредѣляемыхъ ежегодно въ прислуги, обратно опускаются въ деревню, если не тысячи, то сотни измятыхъ, искалѣченныхъ людей; но разъ оторванные отъ деревни, они уже не прирастаютъ къ ней. Николаю и его семьѣ родное Жуково кажется ужаснымъ.

«...Войдя въ избу, онъ даже испугался, такъ было темно, тѣсно и нечисто. Пріѣхавшіе съ нимъ жена Ольга и дочь Сапа съ недоумѣніемъ поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть-ли не полъ-избы, темную отъ копоти и мухъ. Сколько мухъ! Печь покосилась, бревна въ стѣнахъ лежали криво, и казалось, что изба сію минуту развалится. Въ переднемъ углу возлѣ иконъ были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги—это вмѣсто картинъ. Бѣдность, бѣдность! Изъ взрослыхъ никого не было дома, всѣ жали. На печи сидѣла дѣвочка лѣтъ восьми, бѣлоглазая, немытая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедшихъ. Внизу терлась о рога чѣ бѣлая кошка.

— Кисъ, кисъ!—поманила ее Сапа.—Кисъ!

— Она у насъ не слышитъ,—сказала дѣвочка.—Оглохла...

— Отчего?

— Такъ. Побили.

Николай и Ольга съ перваго взгляда поняли, какая тутъ жизнь, но ничего не сказали другъ-другу...»

Такими мѣткими черточками, какъ эти бутылочные ярлыки вмѣсто картинъ или эта глухая отъ побоевъ кошка,—черточками, оживляющими описаніе до иллюзіи полонъ весь рассказъ. Прочитавъ «Мужиковъ», вы воочию видите всѣ мельчайшія подробности этой деревни, даже тѣ, о которыхъ авторъ не упомянулъ. То, что показано, до такой степени жизненно, что и непоказанное видишь ярко, въ одной сплошной картинѣ. Съ каждой человѣческой фигурой разсказа, съ каждымъ словомъ и жестомъ ея вы мгновенно соглашаетесь, какъ при встрѣчѣ съ живымъ.

человѣкомъ не усомнитесь, что онъ живой, что онъ движется и говорить на самомъ дѣлѣ.

У Марьи, жены брата Кирьяка, было шестеро дѣтей, у Ѳеклы, жены брата Дениса, ушедшаго въ солдаты, — двое, и когда Николай, войдя въ избу, увидѣлъ все семейство, всѣ эти большія и маленькія тѣла, которыя шевелились на палатахъ, въ ясляхъ и во всѣхъ углахъ, и когда увидѣлъ, съ какою жадностью старикъ и бабы ѣли черный хлѣбъ, мокая его въ воду, то сообразилъ, что напрасно онъ сюда прѣхалъ...

— А гдѣ братъ Кирьякъ? — спросилъ онъ, когда поздоровался.

— У куша въ сторожахъ живетъ, — отвѣтилъ отецъ. — Въ лѣсу. Мужики-бы ничего, да заливасть шибко.

— Не добыччикъ — проговорила старуха слезливо. — Мужики наши горькіе, не въ домъ несутъ, а изъ дому. И Кирьякъ пьетъ, и старикъ тоже, — грѣха нечего таить, знаетъ въ трактиръ дорогу. Прогнѣвалась Царица небесная...

По случаю гостей поставили самоваръ. Отъ чая пахло рыбой, сахаръ былъ огрызанный и сѣрый, по хлѣбу и посудѣ сновали тараканы: было противно пить, и разговоръ былъ противный — все о нуждѣ да болѣзняхъ. Но не успѣли выпить и по чашкѣ, какъ со двора донесся громкій, противный, пьяный крикъ:

— Ма-арья!

— Похоже. Кирьякъ идетъ, — сказала старикъ, — легкѣ на поминѣ.

Всѣ притихли. И немного погодя, опять тотъ-же крикъ, грубый и протяжный, точно изъ-подъ земли:

— Ма-арья!

Марья, старшая невестка, поблѣднѣла, прижалась къ печи, и какъ-то страшно было видѣть на лицѣ у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины выраженіе испуга. Ея дочь, та самая дѣвочка, которая сидѣла на печи и казалась равнодушной, вдругъ громко заплакала.

— А ты чего, холера? — крикнула на нее Ѳекла, красивая баба, тоже сильная и широкая въ плечахъ. — Небось, не убьютъ!

— Ма-арья! — раздался крикъ у самой двери.

— Вступитесь, Христа ради, родименькіе, — зашептала Марья, дыша такъ, точно ее опускали въ очень холодную воду. Вступитесь, родименькіе...

Заплакали всѣ дѣти, сколько ихъ было въ избѣ, и глядя на нихъ, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и въ избу вошелъ высокій, чернобородый мужикъ въ зимней шапкѣ... Это

былъ Кирьякъ. Подошла къ женѣ, онъ размахнулся и ударилъ ее кулакомъ по лицу, она-же не издала ни звука, ошеломленная ударомъ и только присѣла, и тотчасъ у нея изъ носу пошла кровь...

IV.

Вотъ какими картинами встрѣчаетъ родное гнѣздо оторванного отъ земли «мужика», вернушагося домой въ лакейскомъ фракѣ, но безъ ногъ. Старики еще копошатся около земли. Старуха «бабка»—геній этой семьи—судорожно еще цѣпляется за хозяйство, скупая, злая, озвѣрѣлая; вы видите, что духъ расы въ ней дѣлаетъ послѣднюю попытку отстоять патріархальныя основы жизни—свою семью, дворъ, землю, скотъ. Бабка все дѣлаетъ сама и все беспокоится, какъ-бы кто не съѣлъ куска лишняго, какъ-бы старикъ и невѣстки не сидѣли безъ работы. Чуя со всѣхъ сторонъ бѣду неминуемую, разоренье, разложенье духъ расы подсказываетъ бабкѣ одинъ исходъ—тяжкій трудъ, ожесточенную заботу о каждой коркѣ хлѣба. «По случаю праздника купили въ трактирѣ селедку и варили похлебку изъ селедочной головки. Въ полдень сѣли пить чай и пили его долго, до пота, и казалось, распухли отъ чая, и уже послѣ этого стали ѣсть похлебку, всѣ изъ одного горшка. А селедку бабка спрятала». Бабка бодрствуетъ, сокращаетъ праздничный пиръ семьи до селедочной головки; чтобы урвать что-нибудь отъ самихъ себя, вы видите ея сверхъестественныя усилія—и въ тотъ-же день оба мужика семьи, отецъ и сынъ, напиваются въ трактирѣ пьяными. Цѣлую недѣлю мотаютъ шелкъ съ ближней фабрики, и всей семьей выпариваютъ копѣекъ 20 въ недѣлю, которыя пропиваются въ одинъ часъ. Вы чувствуете, какъ все это глупо складывается и безвыходно. Но старуха все бьется, рвется изъ послѣднихъ силъ.

Старикъ уже сдался, онъ пьетъ, бездѣльничаетъ. Если-бы бабка не понукала его постоянно, онъ все сидѣлъ-бы на печи, да разговаривалъ. Онъ по-долгу раз-

сказывалъ сыну про какихъ-то своихъ враговъ, жаловался на обиды... «Да, — рассказывалъ онъ, взыскать за бока. — Да... После Воздвиженья черезъ недѣлю продать я сѣно по тридцать копѣекъ за пудъ, добровольно... Да... Хорошо... Только это, значить, везу я утромъ сѣно добровольно, никого не трогаю; въ недобрый часъ гляжу — выходитъ изъ трактира староста Антипъ Сѣдельниковъ: «Куда везешь такой-сякой?» И меня по уху». Ослабѣвшій человѣкъ резонируетъ и уже не борется за свое существованіе. Молодое поколѣніе — родные братья лакея — одинъ въ солдатахъ, другой въ сторожахъ у купца и пьянствуетъ. Главныя рабочія силы — и онѣ-то и парализованы. Мужичье гнѣздо еле держится, и вы чувствуете — держится остатками силъ — бабьими руками. Но уже и бабы работаютъ не у себя дома, а за рѣкой, у помѣщика, причемъ Окска, жена солдата, ночью бѣгаетъ къ приказчикамъ и о мужѣ говоритъ съ досадой: «а ну его!» Тихая, задумчивая деревушка съ покосившимися избами, на краю ея трактиръ подъ желѣзной крышей и съ занавѣсками. Вы понимаете, что этотъ трактиръ много значитъ въ жизни задумчивой деревни. Въ трактирѣ покупаютъ не только водку, но уже и муку для хлѣба... Тою-же своей манерой — вскользь — авторъ выводитъ на сцену всѣхъ геніевъ деревни, влияющихъ на ея судьбу. Въ церкви и на пожарѣ появляется высшая раса, живущая за рѣкой, изящный студентъ и барышни, восклищающія: «Жоржъ!» Показывается удрученное недоимками сельское хозяйство, самоваръ, продаваемый на пополненіе 119 рублей недоимки, забираемая куры и овцы. То тутъ, то здѣсь мелькаетъ характерная фигура «повара генерала Жукова», побирающагося по дворамъ.

Что ни фигура, то цѣлый символъ, выражающій что-то огромное и сложное въ деревенской жизни. Этотъ нищій поваръ генерала Жукова (бывшаго ихъ барина) этотъ нищій лакей «Славянскаго Базара», спорящіе о котлетахъ-маршалахъ въ закопѣлыхъ, завалившихся избен-

ках, — этот староста Антипъ Съдельниковъ, арестующий у старухи самоваръ, этотъ переутомленный становой, этотъ изящный Жоржъ, окуривающий бабъ водою на пожаръ и дающий другивенный на чай, эти старики, вздыхающіе о крѣпостныхъ временахъ, этотъ дикій Кирьякъ, погибающій отъ пьянства и собирающійся въ городъ, этотъ фельдшеръ-выкрестъ, убивающій на смерть больного своими банками, эта нѣжная, чувствительная Ольга, жена лакея, которую трогаетъ до слезъ даже видъ красиво одѣтыхъ господъ, ею обожасмыхъ, эта забитая Марья, потерявшая въ нишей Ольгѣ единственный свѣтъ, какой она видѣла, — все это съ страшною яркостью и рисуетъ, и символизируетъ народную жизнь. Разсказъ оканчивается спешной, какъ послѣ смерти лакея эта Ольга съ дѣвочкой возвращаются въ городъ. Въ одномъ селѣ она встрѣтила «повара генерала Жукова».

«Онъ и Ольга не узнали другъ друга, потомъ оглянулись въ одно время, узнали и, не сказавъ ни слова, пошла дальше каждая своею дорогой. Остановившись около избы, которая казалась побѣгаче и новѣе, передъ открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко, тонкимъ, пѣвучимъ голосомъ:

— Православные христіане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителямъ зашимъ царство небесное, вѣчныя покой...

— Православные христіане, — заплѣла Саша, — подайте Христа ради, что милость ваша, царство небесное...

Этою оборванной, точно натянутая струна, молябою о милостынѣ оканчивается разсказъ. Этотъ дѣтскій голосокъ — развѣ не символъ?

Въ «Мужикахъ» г. Чеховъ развернулъ всю силу своего огромнаго таланта, — но больше силу, чѣмъ красоту. Разсказъ прекрасенъ, но жизнь, выведенная въ немъ, слишкомъ горестна, чтобы любоваться ею. У г. Чехова едва-ли найдутся болѣе выразительныя вещи, но у него есть много гораздо болѣе граціозныхъ, проникнутыхъ поэзіей и почти счастьемъ. *Почти* — такъ-какъ муза Чехова полна печали, несмотря на ея милый и нѣжный

юморъ. Въ «Мужикахъ» вы встрѣтите и этотъ юморъ, но въ немъ не такъ замѣтна пѣвическая чуждая свѣжесть, една уловимая настроенія прекрасной, бодрой души, все содеряющей точно въ солнечномъ свѣтѣ. Здѣсь лишь на дальнихъ планахъ въ мимолетныхъ описаніяхъ природы видны голубые уголки неба, — общій же колоритъ мраченъ, рисунокъ отличается строгостію, доходящей до суровости. Природа здѣсь сіяетъ «красною вѣчною», какъ-бы «у гробового входа»; на высокихъ берегахъ вьющейся среди луговъ рѣки, среди вечернихъ волшебныхъ закатовъ и зорь разыгрывается тягостная драма человѣческаго существованія, дошедшаго до крайняго упадка. Можетъ-ли этотъ рассказъ на столь значительную тему, столь ярко выраженную, быть названъ мелочью? По моему, это серьезный, очень пѣвый вкладъ въ нашу классическую литературу и большая заслуга передъ обществомъ. Если «Мужики» не явятся событіемъ, дѣлающимъ эру въ беллетристику, какъ когда-то «Антонъ Горемыка» (несравненно слабѣйшій) или «Записки охотника» (не болѣе сильныя) то причина этого будетъ заключаться не въ произведеніи, а въ обществѣ. Бываютъ поколѣнія читателей, подобныя тучной нивѣ: даже небрежно брошенное слово даетъ плодъ сторицей, — но выдаются поколѣнія заглохшія: сѣятель можетъ сколько угодно разбрасывать сѣмена мысли, — они пропадутъ безслѣдно. А какая это была-бы жалость, если-бы чудный рассказъ г. Чехова прошелъ, какъ многое у насъ проходитъ, незамѣченнымъ! Я вовсе не любитель такъ-называемой мужицкой беллетристики. Я не ликовалъ, правда, по поводу т.-н. «облагороженія» нашей литературы въ послѣдніе годы, по поводу исчезновенія въ ней излюбленныхъ героевъ 70-хъ годовъ — Петрухъ да Митюхъ и замѣны ихъ князьями Коко, графинями Зизи, — я не ликовалъ по поводу этой замѣны, но и не сокрушался ею. Мужикъ, въ самомъ дѣлѣ, очень тогда надобѣнъ и совсѣмъ былъ неинтересенъ... Почему? А потому, что это былъ не настоя-

шій мужикъ — вродѣ чеховскихъ, — а какой-то поддѣльный, придуманный. Дѣло въ томъ, что, за исключеніемъ трехъ-четырехъ тогдашнихъ даровитыхъ беллетристовъ — Глѣба Успенскаго, г. Златовратскаго, Каронина — вся остальная братія «народниковъ» по безталанности своей не знали народа и не могли знать его. Они описывали русскаго мужика въ своемъ родѣ не менѣе вычурно, чѣмъ иностранцы, и этотъ псевдо-мужикъ наводилъ, конечно, скуку на всѣхъ русскихъ читателей, сколько-нибудь видѣвшихъ мужика. Нѣтъ, слава Богу, что эти пейзажи, наконецъ, исчезли изъ литературы (исчезли-ли?), — они оказывали плохую услугу живому сословію, съ котораго будто-бы были списаны. Это былъ въ своемъ родѣ фальшивый паспортъ, выданный отъ искусства русскому простонародью, и хорошо, что онъ исчезъ.

Совершенно такъ-же фальшивы и неинтересны смѣнившіе мужика въ беллетристикѣ князья и графы, они тоже не похожи на настоящихъ. Это не потому только, что большинство беллетристовъ, описывающихъ салоны, мало бывали въ нихъ (хотя и это причина уважительная). Даже тѣ изъ нихъ, которые имѣли случай внимательно наблюдать титулованныхъ героевъ и даже сами титулованы (какъ беллетристы — кн. Волконскій, кн. Голицынъ, гр. Саліасъ и пр.), даже и эти не знаютъ аристократіи, какъ не знаютъ и народа, какъ ничего не знаютъ въ степени, необходимой для творчества. Да, сколько-бы они ни «изучали», по примѣру г. Боборыкина, ту или иную «среду», сколько-бы ни собирали человѣческихъ документовъ, все-же недостатокъ таланта явится роковою преградой для настоящаго знанія.

V.

Талантъ обыкновенно отдѣляютъ отъ знанія и даже противопоставляютъ ему; часто слышишь: «такой-то беллетристъ талантливъ, но необразованъ». Мнѣ кажется,

тутъ большое недоразумѣніе. Истинный талантъ (на нашей степени культуры) не можетъ быть необразованнымъ, онъ самъ есть высшее, доступное человѣку, образованіе. Талантливый человѣкъ можетъ не знать того, что ему не нужно, не что потребно для его духа, къ тому онъ стремится съ силой голода и жажды, и ужъ непременно добьется нужнаго знанія. Если великій химикъ равнодушенъ къ музыкѣ, а музыкантъ къ химіи, то странно звать ихъ невѣждами. Они знаютъ чуждые имъ предметы ровно столько, сколько имъ необходимо для главного свойственнаго имъ знанія, и если Моцартъ не могъ писать своихъ глубокихъ симфоній безъ философскаго развитія, и если это развитіе нуждается въ нѣкоторыхъ свѣдѣніяхъ изъ химіи, то, очевидно, Моцартъ зналъ химію, хоть и не держалъ въ рукахъ химическаго учебника. Отъ момента зачатія мы состоимъ изъ химическихъ процессовъ, и не зная слова «химія» — какъ не знали его древніе мудрецы — можно знать все-же самое важное изъ химіи, — то, что входитъ въ философское наше развитіе. Поскольку для благородства духа, для его творчества нужна механика, астрономія и всякая другая область знанія, — Моцартъ тѣмъ-же опытнымъ, органическимъ заимствованіемъ почерпалъ изъ природы эти знанія. Наоборотъ: если талантливому натуралисту, какъ Гельмгольцу, понадобится для его цѣлей музыка — онъ тотчасъ-же изучитъ ее, и въ степени, достаточной для новыхъ открытій въ этой области. Всѣ науки суть лишь ярлыки на явленіяхъ природы, а кто способенъ усматривать самыя явленія, для того нѣтъ особенной необходимости обращаться къ ярлыкамъ, которые далеко не всегда объясняютъ предметы правильно. Въ то время какъ бездарные люди усваиваютъ только чужое знаніе, часто невѣрное, люди одаренные имѣютъ, сверхъ того, еще свое, проникающее всегда глубже въ суть предмета. Въ то время, какъ для обыкновенныхъ людей приобрѣтеніе знаній — трудъ тяжелый и всегда корыстный, талантъ изучаетъ то,

что ему интересно, съ наслажденіемъ и безъ всякаго расчета. Поэтому, только таланту свойственна полнота знаній, какая человѣку доступна. Новый рассказъ г. Чехова, какъ и другія лучшія его вещи, поражаетъ глубокимъ знаніемъ предмета. Какъ въ «Скучной исторіи» удивляетъ близкое его знакомство съ бытомъ ученыхъ кружковъ, какъ въ «Бабьемъ Царствѣ» выступаетъ совершенно живой купеческій міръ, такъ въ «Мужикахъ» являются доподлинные великорусскіе мужики, во всѣхъ жестахъ и позахъ вѣрные жизни.

«Мужики», какъ вещь художественная, даютъ не только *полное* знаніе въ затронутой области, но и знаніе *важное* по существу. Ни въ чемъ такъ не нуждается образованное общество, какъ въ установленіи правильныхъ отношеній къ народу, въ развитіи сочувствія къ нему и уваженія, которыя невозможны безъ знанія народа. Въ отношеніи темной массы у насъ господствуетъ всеобщее и глубокое невѣжество. Обособленные въ своей эгоистической, чуждой народу образованности, мы не замѣчаемъ, что у насъ установился неподвижный, окаменѣвшій и грубый взглядъ на родное намъ человѣчество. Крестьянинъ, естественно связанный съ этимъ человѣчествомъ, знаетъ этотъ великій міръ и его жизнь въ интимныхъ его движеніяхъ; мы этого не знаемъ. А мы безпрестанно вмѣшиваемся въ судьбу народную, имѣемъ претензію руководить ею, вести къ свѣту и счастью. Въ этой гордой миссіи насъ встрѣчаютъ непрерывныя неудачи, и причину ихъ всѣ видятъ въ народномъ невѣжествѣ. Такъ-ли это? Не въ интеллигентномъ-ли невѣжествѣ слѣдуетъ искать причину неудачъ—въ невѣжествѣ относительно своего народа, въ незнаніи его доподлинной жизни?

Рассказъ г. Чехова—драгоценный вкладъ въ науку о народѣ, изъ всѣхъ наукъ, можетъ быть, самую важную. Вотъ общественное значеніе этой художественной вещи.